

U M B E R T O  
E C  
IL NOME  
DELLA  
ROSA



У М Б Е Р Т О



ИМЯ  
РОЗЫ

Роман

*Перевод с итальянского*  
Елены Костюкович



*издательство*  
АСТРЕЛЬ

УДК 821.131.1-3  
ББК 84(4Ита)-44  
Э40

Published by arrangement with ELKOST Intl. Literaty Agency

Художественное оформление и макет АНДРЕЯ БОНДАРЕНКО

Издание осуществлено при техническом содействии и издательства АСТ

**Эко, У.**

Э40 Имя розы : роман / УМБЕРТО ЭКО ; пер. с итал., глоссарий и послесловие Е. КОСТЮКОВИЧ – М. : Астрель : CORPUS, 2011. – 672 с.

ISBN 978-5-271-35678-0 (ООО “Издательство Астрель”)

«Имя розы» – книга с загадкой. В начале XIV века, вскоре после того, как Данте сочинил «Божественную комедию», в сердце Европы, в бенедиктинском монастыре обнаруживаются убитые. Льется кровь, разверзаются сферы небес. Черда преступлений воспроизводит не английскую считалочку, а провозвестия Апокалипсиса. Сыщик, конечно, англичанин. Он напоминает Шерлока Холмса, а его юный ученик – доктора Ватсона. В жесткой конструкции детектива находится место и ярким фактам истории Средневековья, и переключкам с историей XX века, и рассказам о религиозных конфликтах и бунтах, и трогательной повести о любви, и множеству новых загадок, которые мы, читатели, торопимся разрешить, но хитрый автор неизменно обыгрывает нас... Вплоть до парадоксального и жуткого финала.

УДК 821.131.1-3  
ББК 84(4Ита)-44

ISBN 978-5-271-35678-0 (ООО “Издательство Астрель”)

- © RCS Libri S.p.A. – Milano Vompiani 1980–2010
  - © Е.Костюкович, перевод на русский язык, 1997, 2008
  - © Е.Костюкович, глоссарий, 1997, 2008
  - © Е.Костюкович, послесловие, 2011
  - © А.Бондаренко, оформление, 2011
  - © ООО “Издательство Астрель”, 2011
- Издательство CORPUS ®

# Содержание

<i>Разумеется, рукопись</i> .....	13
<i>Примечание автора</i> .....	21
<i>Пролог</i> .....	23

## ДЕНЬ ПЕРВЫЙ

<i>ЧАС ПЕРВЫЙ, где описано прибытие к подножию аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проницательность</i> .....	35
<i>ЧАС ТРЕТИЙ, где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу</i> .....	42
<i>ЧАС ШЕСТЫЙ, где Адсон изучает портал церкви, а Вильгельм после долгой разлуки видится с Убертином Казальским</i> .....	59
<i>ПЕРЕД ЧАСОМ ДЕВЯТЫМ, где Вильгельм ведет ученейший диалог с травщиком Северином</i> .....	91
<i>ПОСЛЕ ЧАСА ДЕВЯТОГО, где при посещении скриптории состоялось знакомство со многими учеными, копиистами и рубрикаторами, а также со слепым старцем, ожидающим Антихриста</i> .....	98
<i>ВЕЧЕРНЯ, где осматриваются прочие постройки, Вильгельм предлагает версию гибели Адельма и ведется беседа со стекольным мастером о стеклах для чтения и остратке для тех, кто слишком любит читать</i> .....	114

ПОВЕЧЕРИЕ, где Вильгельма и Адсона ожидают щедрое угощение Аббата и суровая отповедь Хорхе	125
-----------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## ДЕНЬ ВТОРОЙ

ПОЛУНОЩНИЦА, где краткие часы мистического восторга оканчиваются самым кровавым образом	133
--------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЧАС ПЕРВЫЙ, где Бенций Упсальский кое-что рассказывает, еще кое-что рассказывает Беренгар Арундельский и Адсон узнает, каково подлинное раскаяние	143
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЧАС ТРЕТИЙ, где невежи бранятся, Имарос Александрийский кое о чем намекает и Адсон задумывается о природе святости и дьяволовом дерьме. Затем Вильгельм и Адсон поднимаются в скрипторий, Вильгельм находит нечто любопытное, в третий раз дискутирует о позволительности смеха, но в конце концов не успевает рассмотреть что нужно	156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЧАС ШЕСТЫЙ, где Бенций ведет странные речи, из которых выясняются не слишком приглядные подробности жизни обители	175
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ЧАС ДЕВЯТЫЙ, где Аббат выхваляется богатствами обители и опасается злодейств еретиков и в конце концов Адсон сожалеет, что решился повидать мир	182
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПОСЛЕ ВЕЧЕРНИ, где, невзирая на краткость главки, старец Алинард сообщает много интересного о лабиринте и как в него попадают	202
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

ПОВЕЧЕРИЕ, где открывается Храмина, в ней оказывается загадочный лазутчик, обнаруживается записка некромантским тайным шифром, а также на мгновение показывается и снова исчезает книга, которую предстоит искать во многих последующих главах; в довершение неприятностей украдены Вильгельмовы очки	207
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

НОЧЬ, где удастся наконец попасть в лабиринт, увидеть непонятные видения и, как положено в лабиринтах, – заблудиться	217
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----

## ДЕНЬ ТРЕТИЙ

ОТ УТРЕНИ ДО ЧАСА ПЕРВОГО, где обнаруживается кровавая простыня в келье пропавшего Беренгара – и это все . . . . . 232

ЧАС ТРЕТИЙ, где Адсон философствует об истории своего ордена и о судьбе различных книг . . . . . 235

ЧАС ШЕСТЫЙ, где Адсон выслушивает признания Сальватора (которые двумя словами не перескажешь), отчего и погружается в тревожащие раздумья . . . . . 240

ЧАС ДЕВЯТЫЙ, где Вильгельм рассказывает Адсону о великом еретическом течении, о пользе простецов для церковного дела, о своих сомнениях относительно умопостижности законов бытия и походя упоминает, что расшифровал некромантские записи Венеция . . . 252

ВЕЧЕРНЯ, где имеет место новая беседа с Аббатом, Вильгельм высказывает хитроумные догадки, как проникнуть в тайну лабиринта, и дело решается самым рациональным способом. Затем предлагается отведать сыра под одеялом . . . . . 272

ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ, где Убертин рассказывает Адсону историю брата Долчина, другие подобные истории Адсон припоминает и читает самостоятельно, а после этого встречается с девицей прекрасною и грозною, как выстроенное к битве войско . . . . . 287

НОЧЬ, где ошеломленный Адсон исповедуется Вильгельму и размышляет о месте женщины в мифоздании, пока не натывается на труп мужчины . . . 328

## ДЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ

ХВАЛИТНЫ, где Вильгельм и Северин осматривают тело Беренгара, и язык оказывается черным, что необычно для утопленника; потом идет диспут об опаснейших ядах и рассказ о давней пропаже . . . 337

ЧАС ПЕРВЫЙ, где Вильгельм вынуждает сперва Сальватора, а затем келаря припомнить прошлое, Северин находит украденные очки, Николай приносит еще одни и шестиглазый Вильгельм удаляется разбирать выписки Венанция . . . 347

ЧАС ТРЕТИЙ, где Адсон исходит любовными мучениями, потом  
появляется Вильгельм со своей запиской, которая и после расшифровки  
остается такой же зашифрованной . . . . . 360

ЧАС ШЕСТЫЙ, где Адсон отправляется за трюфелями,  
а возвращается с миноритами и те держат  
с Вильгельмом и Убертином совет, на котором много неутешительного  
говорится об Иоанне XXII . . . . . 375

ЧАС ДЕВЯТЫЙ, где появляются кардинал Поджеттский,  
Бернард Ги и другие авиньонцы, а потом всякий делает что хочет . . . 392

ВЕЧЕРНЯ, где Алинард сообщает, кажется, важнейшие сведения,  
а Вильгельм демонстрирует свой метод продвижения  
к проблематичной истине через последовательность заведомых ошибок . . . 394

ПОВЕЧЕРИЕ, где Сальватор повествует о любовной ворожке . . . . . 401

ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ, где снова имеет место посещение Храмы  
и обнаруживается предел Африки, но войти туда не удается,  
так как неизвестно, что такое первый и седьмой в четырех,  
а в конце концов Адсон переживает новый приступ – на сей раз  
высоконаучный ОЧ своей любовной болезни . . . . . 405

НОЧЬ, где Сальватор жалчайшим образом попадаетея Бернарду Ги,  
девушка, любимая Адсоном, захвачена как ведьма и все засыпают  
еще более несчастными и перепуганными, чем проснулись . . . . . 428

## ДЕНЬ ПЯТЫЙ

ЧАС ПЕРВЫЙ, где разворачивается братская дискуссия  
о бедности Христа . . . . . 439

ЧАС ТРЕТИЙ, где Северин сообщает Вильгельму о необычной книге,  
а Вильгельм сообщает делегатам необычные воззрения  
на проблему мирской власти . . . . . 458

ЧАС ШЕСТЫЙ, где находят убитого Северина, но не могут  
найти книгу, которую он нашел . . . . . 472

ЧАС ДЕВЯТЫЙ, где вершится правосудие и создается неприятное впечатление, что не правы все .....	486
ВЕЧЕРНЯ, где Убертину приходится бежать, Бенций начинает почитать законы, а Вильгельм делится некоторыми соображениями о разных видах сладострастия, встреченных в этот день .....	515
ПОВЕЧЕРИЕ, где звучит проповедь о явлении Антихриста и Адсон открывает для себя значение имен собственных .....	524

## ДЕНЬ ШЕСТЫЙ

ПОЛУНОЩНИЦА, где князи восседают, а Малахия валится на землю ...	540
ХВАЛИТНЫ, где назначается новый келарь, но не новый библиотекарь .....	546
ЧАС ПЕРВЫЙ, где Николай повествует о самых разных вещах, показывая гостям крипту с сокровищами .....	550
ЧАС ТРЕТИЙ, где Адсон, слушая «Dies irae», видит сон или, скорее, видение .....	560
ПОСЛЕ ТРЕТЬЕГО ЧАСА, где Вильгельм толкует Адсону его сон .....	574
ЧАС ШЕСТЫЙ, где расследуется история библиотеки и кое-что сообщается о таинственной книге .....	578
ЧАС ДЕВЯТЫЙ, где Аббат отказывается выслушать Вильгельма, а предпочитает говорить о языке драгоценностей и требует, чтобы расследование печальных происшествий в монастыре было прекращено ...	585
ОТ ВЕЧЕРНИ ДО ПОВЕЧЕРИЯ, где коротко рассказывается о долгих часах замешательства .....	598
ПОСЛЕ ПОВЕЧЕРИЯ, где почти случайно Вильгельм разгадывает тайну, как войти в предел Африки .....	602

## ДЕНЬ СЕДЬМОЙ

НОЧЬ, где, если перечислять все потрясающие разоблачения,  
которые тут прозвучат, подзаголовок выйдет длиннее самой главы,  
что противоречит правилам .....610

НОЧЬ, где случается мировой пожар и из-за переизбытка  
добродетелей побеждают силы ада .....631

## ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ

ЕЛЕНА КОСТЮКОВИЧ. Почти четверть века спустя .....659

Краткий глоссарий .....668

# ИМЯ РОЗЫ



## Разумеется, рукопись

**Ш**естнадцатого августа 1968 года я приобрел книгу под названием «Записки отца Адсона из Мелька, переведенные на французский язык по изданию отца Ж. Мабийона» (Париж, типография Ласурсского аббатства, 1842)<sup>1</sup>. Автором перевода значился некий аббат Балле. В довольно бедном историческом комментарии сообщалось, что переводчик дословно следовал изданию рукописи XIV века, разысканной в библиотеке Мелькского монастыря знаменитым ученым семнадцатого столетия, столь много сделавшим для историографии ордена бенедиктинцев. Так найденный в Праге (выходит, уже в третий раз) раритет спас меня от тоски в чужой стране, где я дожидался той, кто была мне дорога. Через несколько дней бедный город был занят советскими войсками. Мне удалось в Линце пересечь австрийскую границу; оттуда я легко добрался до Вены, где наконец встретился с той женщиной, и вместе мы отправились в путешествие вверх по течению Дуная.

В состоянии нервного возбуждения я упивался ужасающей повестью Адсона и был до того захвачен, что сам не заметил, как начал переводить, заполняя замечательные большие тетради фирмы «Жозеф Жибер», в которых так прият-

<sup>1</sup> Le manuscrit de Dom Adson de Melk, traduit en français d'après l'édition de Dom J. Mabillon. Paris, Aux Presses de l'Abbaye de la Source, 1842. (Прим. автора.)

но писать, если, конечно, перо достаточно мягкое. Тем временем мы оказались в окрестностях Мелька, где до сих пор на утесе над излучиной реки высится многократно перестраивавшийся Stift<sup>1</sup>. Как читатель, вероятно, уже понял, никаких следов рукописи отца Адсона в монастырской библиотеке не обнаружилось.

Незадолго до Зальцбурга одной проклятой ночью в маленьком отеле на берегах Мондзее разрушился наш союз, прервалось путешествие, и моя спутница исчезла; с нею улетучилась и книга Балле, в чем, безусловно, не было злого умысла, а было лишь проявление сумасшедшей непредсказуемости нашего разрыва. Все, с чем я остался тогда, — стопка исписанных тетрадей и абсолютная пустота в душе. Через несколько месяцев, в Париже, я вернулся к этой работе. В моих выписках из французского оригинала, среди прочего, сохранилась и ссылка на первоисточник, удивительно точная и подробная:

*Vetera analecta, sive collectio veterum aliquot operum & opusculorum omnis generis, carminum, epistolarum, diplomaton, epitaphiorum, &, cum itinere germanico, adnotationibus aliquot disquisitionibus R. P. D. Joannis Mabillon, Presbyteri ac Monachi Ord. Sancti Benedicti e Congregatione S. Mauri. — Nova Editio cui accessere Mabilonii vita & aliquot opuscula, scilicet Dissertatio de Pane Eucharistico, Azymo et Fermentato, ad Eminentiss. Cardinalem Bona. Subjungitur opusculum Eldefonsi Hispaniensis Episcopi de eodem argumento Et Eusebii Romani ad Theophilum Gallum epistola, De cultu sanctorum ignotorum; Parisiis, apud Levesque, ad Pontem S. Michaelis, MDCCXXI, cum privilegio Regis<sup>2</sup>.*

1 Монастырь (нем.). (Здесь и далее, кроме особо отмеченных случаев, — прим. перев.)

2 Древняя антология, или Собрание древних трудов и сочинений любого рода, как то: писем, записок, эпитафий, с немецкоязычным комментарием, примечаниями и исследованием преподобного отца, доктора теологии Жана Мабийона, пресвитера монашеского ордена Св. Бенедикта и конгрегации Св. Мавра. Новое издание, включающее жизнь Мабийона и его сочинения, а именно записку «О Хлебе причастия, пресном и квасном» к Его высокопреподобию кардиналу Бона. С приложением сочинений Ильдефонса, епископа Испании, на тот же предмет, и Евсебия Романского к Теофилу Галлу послания «О почитании неведомых святых»; Париж, типография Левек, у моста Сен-Мишель, 1721, с разрешения короля (лат.).

Vetera Analecta я тут же заказал в библиотеке Сент-Женевьев, но, к моему величайшему удивлению, на титульном листе открылось по меньшей мере два расхождения с описанием Балле. Во-первых, иначе выглядело имя издателя: здесь — Montalant, ad Ripam P. P. Augustianorum (prope Pontem S. Michaelis)<sup>1</sup>. Во-вторых, дата издания здесь была проставлена на два года более поздняя. Излишне говорить, что в сборнике не оказалось ни записок Адсона Мелькского, ни каких-либо публикаций, где бы фигурировало имя Адсон. И вообще это издание, как нетрудно увидеть, состоит из материалов среднего или совсем небольшого объема, в то время как текст Балле занимает несколько сотен страниц. Я обращался к самым знаменитым медиевистам, в частности к Этьену Жильсону, чудесному, незабываемому ученому. Но все они утверждали, что единственное существующее издание Vetera Analecta — это то, которым я пользовался в Сент-Женевьев. Посетив Ласурсское аббатство, располагающееся в районе Пасси, и побеседовав со своим другом отцом Арне Лаанештеттом, я стопроцентно уверился, что никакой аббат Балле никогда не публиковал книг в типографии Ласурсского аббатства; похоже, что и типографии при Ласурсском аббатстве никогда не было. Неаккуратность французских ученых в отношении библиографических сносок общеизвестна. Но этот случай превосходил самые дурные ожидания. Становилось ясно, что в руках у меня побывала чистая фальшивка. Вдобавок и книга Балле теперь оказывалась вне досягаемости (по крайней мере, я не видел способа получить ее обратно). Я располагал только собственными записями, внушавшими довольно мало доверия.

Бывают моменты крайне сильной физической утомленности, сочетающейся с двигательным перевозбуждением, когда нам являются призраки людей из прошлого («en me retraçant ces details, j'en suis à me demander s'ils sont réels, ou bien si je les

1 Монтален, набережная Сент-Огюстен (у моста Сен-Мишель) (лат.).

ai rêvés»). Позднее я узнал из превосходной работы аббата Бюкуа, что именно так являются призраки ненаписанных книг.

Если бы не новая случайность, я, несомненно, так и не сошел бы с мертвой точки. Но, слава богу, как-то в 1970 году в Буэнос-Айресе, роясь на прилавке мелкого букиниста на улице Коррьентес, недалеко от самого знаменитого из всех Патио дель Танго, расположенных на этой необыкновенной улице, я наткнулся на испанский перевод брошюры Мило Темешвара «Об использовании зеркал в шахматах», на которую уже имел случай сослаться (правда, из вторых рук) в моей книге «Апокалиптики и интегрированные», разбирая более позднюю книгу того же автора — «Продавцы Апокалипсиса». В данном случае это был перевод с утерянного оригинала, написанного по-грузински (первое издание — Тбилиси, 1934). И в этой брошюре я совершенно неожиданно обнаружил обширные выдержки из рукописи Адсона Мелькского, хотя должен отметить, что в качестве источника Темешвар указывал не аббата Балле и не отца Мабийона, а преподобного Атанасия Кирхера (какую именно его книгу — не уточнялось). Один ученый (нет необходимости приводить здесь его имя) давал мне голову на отсечение, что ни в каком своем труде (а содержание всех трудов Кирхера он знал на память) великий иезуит ни единого разу не упоминает Адсона Мелькского. Однако брошюру Темешвара я сам держал в руках и сам видел, что цитируемые там эпизоды текстуально совпадают с эпизодами повести, переведенной Балле (в частности, после сличения двух описаний лабиринта никаких сомнений остаться не может). Что бы ни писал впоследствии Бенъямино Плачидо<sup>1</sup>, аббат Балле существовал на свете — как соответственно и Адсон из Мелька.

Я задумался тогда, до чего же судьба записок Адсона созвучна характеру повествования; как много здесь непроясненных тайн, начиная от авторства и кончая местом действия; ведь Адсон с удивительным упрямством не указывает, где именно

<sup>1</sup> La Repubblica, 22 сент. 1977 г. (*Прим. автора.*)

находилось описанное им аббатство, а разнородные рассыпанные в тексте приметы позволяют предполагать любую точку обширной области от Помпозы до Конка; вероятнее всего, это одна из возвышенностей Апеннинского хребта на границах Пьемонта, Лигурии и Франции (то есть где-то между Леричи и Турбией). Год и месяц, когда имели место описанные события, названы очень точно — конец ноября 1327; а вот дата написания остается неопределенной. Исходя из того, что автор в 1327 году был послушником, а во время, когда пишется книга, он уже близок к окончанию жизни, можно предположить, что работа над рукописью велась в последнее десяти- или двадцатилетие XIV века.

Не так уж много, надо признать, имелось аргументов в пользу опубликования этого моего итальянского перевода с довольно сомнительного французского текста, который в свою очередь должен был являть собой переложение с латинского издания XVII века, якобы воспроизводившего рукопись, созданную немецким монахом в конце XIV.

Как следовало решить вопрос стиля? Первоначальному соблазну стилизовать перевод под итальянский язык эпохи я не поддался: во-первых, Адсон писал не по-староитальянски, а по-латыни; во-вторых, чувствуется, что вся усвоенная им культура (то есть культура его аббатства) еще более архаична. Это складывавшаяся многими столетиями сумма знаний и стилистических навыков, воспринятых позднесредневековой латинской традицией. Адсон мыслит и выражается как монах, то есть в отрыве от развивающейся народной словесности, копируя стиль книг, собранных в описанной им библиотеке, опираясь на святоотеческие и схоластические образцы. Поэтому его повесть (не считая, разумеется, исторических реалий XIV века, которые, кстати говоря, Адсон приводит неуверенно и всегда понаслышке) по своему языку и набору цитат могла бы принадлежать и XII, и XIII веку.

Кроме того, нет сомнений, что, создавая свой французский в неоготическом вкусе перевод, Балле довольно свободно обошелся с оригиналом — и не только в смысле стиля. К примеру, герои

беседуют о траволечении, ссылаясь, по-видимому, на так называемую «Книгу тайн Альберта Великого», текст которой, как известно, на протяжении веков сильно трансформировался. Адсон мог цитировать только списки, существовавшие в четырнадцатом столетии, а между тем некоторые выражения подозрительно совпадают с формулировками Парацельса или, скажем, с текстом того же Альбертова травника, но в значительно более позднем варианте — в издании эпохи Тюдоров<sup>1</sup>. С другой стороны, мне удалось выяснить, что в те годы, когда аббат Балле переписывал (да переписывал ли?) воспоминания Адсона, в Париже имели хождение изданные в XVIII в. «Большой» и «Малый» Альберы<sup>2</sup>, уже с совершенно искаженным текстом. Однако не исключается ведь возможность наличия в списках, доступных Адсону и другим монахам, вариантов, не вошедших в окончательный корпус памятника, затерявшихся среди глосс, схолий и прочих приложений, но использованных последующими поколениями ученых.

Наконец, еще одна проблема: оставлять ли латинскими те фрагменты, которые аббат Балле не переводил на свой французский — возможно, рассчитывая сохранить аромат эпохи? Мне не было резона следовать за ним: только ради академической добросовестности, в данном случае, надо думать, неуместной. От явных банальностей я избавился, но кое-какие латинизмы все же оставил и сейчас боюсь, что вышло как в самых дешевых романах, где если герой француз, он обязан говорить «parbleu!» и «la femme, ah! la femme!».

В итоге, налицо полная непроясненность. Неизвестно даже, чем мотивирован мой собственный смелый шаг — призыв к читателю поверить в реальность записок Адсона Мелькского. Скорее всего, странности любви. А может быть, попытка избавиться от ряда навязчивых идей.

1 Liber aggregationis seu liber secretorum Alberti Magni, Londinium, juxta pontem qui vulgariter dicitur Flete brigge, MCCCCLXXXV. (Прим. автора.)

2 Les admirables secrets d'Albert le Grand, A Lyon, Chez les Héritiers Beringos, Fratres, à l'Enseigne d'Agrippa, MDCCLXXV; Secrets merveilleux de la Magie Naturelle et Cabalistique du Petit Albert, A Lyon, ibidem. MDCCXXIX. (Прим. автора.)

Переписывая повесть, я не имею в виду никаких современных аллюзий. В те годы, когда судьба подбросила мне книгу аббата Балле, бытовало убеждение, что писать можно только с прицелом на современность и с умыслом изменить мир. Прошло больше десяти лет, и все успокоилось, признав за писателем кровное право писать из чистой любви к процессу. Это и позволяет мне рассказать совершенно свободно, просто ради удовольствия рассказывать, историю Адсона Мелькского, и ужасно приятно и утешительно думать, до чего она далека от сегодняшнего мира, откуда бдение разума, слава богу, выдворило всех чудовищ, которых некогда породил его сон. И до чего блистательно отсутствуют здесь любые отсылки к современности, любые наши сегодняшние тревоги и чаяния.

Это повесть о книгах, а не о несчастной повседневности; прочитав ее, следует, наверное, повторить вслед за великим подражателем Кемпийцем: «Повсюду искал я покоя и в одном лишь месте обрел его — в углу, с книгою».

5 января 1980 г.



## Примечание автора

Рукопись Адсона разбита на семь глав, по числу дней, а каждый день — на эпизоды, приуроченные к богослужениям. Подзаголовки от третьего лица с пересказом содержания глав, скорее всего, добавлены г-ном Балле. Однако для читателя они удобны, и поскольку подобное оформление текста не расходится с италоязычной книжной традицией той эпохи, я счел возможным подзаголовки сохранить.

Принятая у Адсона разбивка дня по литургическим часам составила довольно существенное затруднение, — во-первых, оттого, что она, как известно, варьируется в зависимости и от сезона, и от местоположения монастырей, а во-вторых, оттого, что не установлено, соблюдались ли в XIV веке предписания правила Св. Бенедикта точно так, как сейчас.

Тем не менее, стремясь помочь читателю, я отчасти вывел из текста, отчасти выявил путем сличения правила Св. Бенедикта с расписанием служб, взятым из книги Эдуарда Шнайдера «Часы бенедиктинцев»<sup>1</sup>, следующую таблицу соотношения канонических и астрономических часов:

### ПОЛУНОЩНИЦА

(Адсон употребляет и более архаичный термин Бдение) —  
от 2.30 до 3 часов ночи.

<sup>1</sup> Schneider Edouard. Les heures Bénédictines. Paris, Grasset, 1925. (Прим. автора.)

ХВАЛИТНЫ

(старинное название — Утренняя) — от 5 до 6 утра; должны кончаться, когда брезжит рассвет.

ЧАС ПЕРВЫЙ

около 7.30, незадолго до утренней зари.

ЧАС ТРЕТИЙ

около 9 утра.

ЧАС ШЕСТЫЙ

полдень (в монастырях, где монахи не заняты на полевых работах, зимой, это также час обеда).

ЧАС ДЕВЯТЫЙ

от 2 до 3 часов дня.

ВЕЧЕРНЯ

около 4.30. перед закатом (по правилу, ужинать следует до наступления темноты).

ПОВЕЧЕРИЕ

около 6. Примерно в 7 монахи ложатся.

При расчете учитывалось, что в Северной Италии в конце ноября солнце восходит около 7.30 и заходит примерно в 4.40 дня.

## Пролог

**В** начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Вот что было в начале у Бога, дело же доброго инока деннонощно твердить во смирении псалмопевческом о том таинственном непререкаемом явлении, чрез кое неизвратимая истина глаголет. Однако днесь ея зрим токмо *per speculum et in aenigmate*<sup>1</sup>, и оная истина, прежде чем явить лице пред лице наше, проявляется в слабых чертах (увы! сколь неразличимых!) среди общего мирского блуда, и мы утруждаемся, распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждою волею, всецело устремленною ко злу.

Близясь к закату греховного существования, в сединах одряхлевая, подобно этой земле, в ожидании, когда ввергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, а дотоле обременя тяжкой недужною плотию келью в любимой Мелькской обители, приуготовляюсь доверить пергаментам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую *verbatim*<sup>2</sup> лишь о

<sup>1</sup> В зеркале и в загадке; в отражении и иносказании (*лат.*).

<sup>2</sup> Дословно (*лат.*).

доподлинно виденном и слышанном, без упования проникать сокрытый смысл событий и дабы лишь сохранились для грядущих в мир (Божиею милостью, да не предупреждены будут Антихристом) те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкования.

Сподобил меня Владыка Небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия, при скончании года Господня 1327, когда вошел император Людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышню, посрамлять подлого узурпатора, хриstopродавца и ересиарха, каковой в Авиньоне срамом покрыл святое имя апостола (сие о грешном душой Иакове Кагорском, ему же нечестивцы поклонялись как Иоанну XXII).

Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века — и как я видел все это, живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, — если, конечно, память справится с запутанными нитями множества клубков.

В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местным государям; постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий; победители его разрывали; республикой именовался, но ею не был, преданный на поруганье, разбой и мародерство. Церковнослужители, неподсудные гражданской власти, командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною Священной империи Римской и возродить высшую мирскую державу, как было при цезарях.

На то и избрали в 1314 году пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кельна на

то же правление избрали Фридриха Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола — вот он, очаг злейшего в мире несогласия.

Через два года в Авиньоне был избран новый папа Иаков Кагорский, старик семидесяти двух годов, и нарекся Иоанном XXII, да не допустит небо, чтобы еще хоть один понтифик взял это мерзкое благим людям имя. Француз и подданный французского короля (а люди той зловредной земли всегда выгадывают для своих и не способны понять, что мир наше общее духовное отечество), он поддержал Филиппа Красивого против рыцарей-храмовников, обвиненных королем (полагаю, облыжно) в постыднейших грехах; все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили. Вмешался и Роберт Неаполитанский. Чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове, он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев императором и сам остался главным военачальником церковного государства.

В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фридриха. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а оный в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул братьев францисканцев, и их генерал Михаил Цезенский, склонив слух к требованиям «мужей духа» — «спиритуалов» (о последних еще расскажу), провозгласил как истину веры положение о бедности Христа, который со своими апостолами если и владел чем-либо, то только *usus facti*<sup>1</sup>. Достойнейшее утверждение, призванное оберечь добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно почуввав угрозу своим притязаниям, ибо готовился как единоличный глава церкви воспретить империи избирать епископов, при этом сохранивши за собою прерогативу коронования императоров. Так или иначе, в 1323 го-

1 Временно (*лат.*).

ду он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии «Cum inter nonnullos».

Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах, отныне враждебных папе, мощных сотоварищей. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов — Марсилия Падуанского и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фридрихом союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство Висконти, обложил войском Пизу, назначил имперским наместником Каструччо, герцога Луккского и Пистойского (и напрасно, думаю, ибо не встречал более жестокого человека — кроме Угуччона из Фаджолы), и быстро пошел на Рим, куда призывал мессир Шарра Колонна, господин той области.

Такова была пора, когда я, приняв послушание в бенедиктинской обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волею отца, бывшего у Людовика в свите и не последнего меж его баронами, каковой рассудил взять меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же, оным побуждаясь, и от досуга и ради пользы новых зрелищ осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, житье без занятий и уроков не годствовал юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то по совету полюбившего меня Марсилия и был я приставлен к ученому францисканцу Вильгельму Баскервильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам. Я сделался при нем писцом и учеником и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела, достойные увековечения — ради чего и тружусь ныне — в памяти тех, кто придет за нами.

Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря — не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а дви-

жим был единственной страстью — к истине, и страдал от единственного опасения — неотступного, как я видел, — что истина не то, чем кажется в настоящий миг. Впрочем, к главнейшим своим занятиям, развлеченный тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о роде его задач. Но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю. Поэтому мы отклонились к западу (хотя цель лежала на востоке), а затем пошли вдоль гребня гор, тянувшихся от Пизы до перевала Св. Иакова, откуда достигли земли, коей имя ныне, в преддверии рассказа о бывших там ужасах, воздержусь называть, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи, и местные аббаты нашего ордена, объединившись, противились еретику и святокупцу папе. Всего пути вышло две недели, и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать (хотя все же недостаточно) нового учителя.

Впредь не займу сии листы описанием внешности людей — кроме случаев, когда лицо либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка. Ибо, по Боэцию, всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью, и стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие аббат Аббон взором был суров и бледен ликом, когда и он и все с ним жившие ныне прах, и праха цвета, смертного цвета их тела? (Только дух, волею Господней, сияет вечно негасимом свете.) Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обыкновенные черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноше, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца. От него мы перенимаем и повадку и походку, ловим его улыбку. Но никакое сладострастие не пят-

нает сию, возможно единственную чистую, разновидность плотской любви.

В мое время люди были красивы и рослы, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, землю перевернули с ног на голову, слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, птицы падают не взлетев, осел играет на лире, буйволы пляшут. Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной, Лия неплодна, Рахиль похотлива, Катон ходит в лупанарии, Лукреций обабился. Все сбились с пути истинного. И да вознесутся бесчисленные Господу хвалы за то, что я успел воспринять от учителя жажду знаний и понятие о прямом пути, которое всегда спасает, даже тогда, когда путь впереди извилист.

Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку. Ростом выше обыкновенного, он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, пронизательный. Тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в минуты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длиннота лица, усыпанного веснушками — их много у тех, кто рожден меж Гибернией<sup>1</sup> и Нортумбрией<sup>2</sup>, — могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился: то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности. Тогда как в разумную душу, полагал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда.

Меня, мальчишку, сразу поразили ключья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил весен пятьдесят и, значит, был очень стар. Однако телом не ведал устали, двигаясь с проворством, не всегда до-

<sup>1</sup> Ирландия.

<sup>2</sup> Нортумберленд (самое северное графство Англии).

ступным и мне. В периоды оживления его бодрость поражала. Но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, в полной прострации, он лежнем лежал в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единой мышцей лица. Взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что он во власти дурманящего зелья, — когда бы сугубая воздержность всей его жизни не ограждала от подобных подозрений. Все же не скрою, что в пути он искал на кромках лугов, на окраинах роц какую-то траву (по-моему, всегда одну и ту же), рвал и сосредоточенно жевал. Брал и с собою, чтоб жевать в минуты высшего напряжения сил (немало их ждало нас в монастыре!). Я спросил его, что за трава, он засмеялся и ответил, что добрый христианин, бывает, учится и у неверных. Я хотел попробовать, но он не дал со словами, что как в речах к простецам различаются *paidikoi*, *epebikoi* и *gynaikoi*<sup>1</sup>, так и с травами: что здорово старику францисканцу, негоже юному бенедиктинцу.

Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлениям службы Божией являлись нерегулярно. В дороге он все же после повечерия бодрствовал редко. В привычках был умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривал травы, как рассматривают хризопразы и изумруды. А в крипте, в сокровищнице проходя глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей-траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки — можно подумать, только для удовольствия (а кругом в это время множились трупы зверски убитых монахов). Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если б он не был обязан отдавать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили иначе расходовать время, о чем я ему и сказал. Он же ответил, что краса космоса является не только в единстве

1 Обращения к детям, подросткам и женщинам (*зреч.*).

разнообразия, но и в разнообразии единства. Сей ответ я принял за невежливый и полный эмпиризма. Лишь позже я осознал, что люди его земли любят описывать важнейшие вещи так, будто им неведома просвещающая сила упорядоченного рассуждения.

Пока мы жили в аббатстве, руки его были вечно перепачканы книжной пылью, позолотой невысохших миниатюр, желтоватыми зельями из лечебницы Северина. Он как будто мыслил руками, что, на мой взгляд, пристало скорее механику (меня же учили, что всякий механик — *thoecus*<sup>1</sup>, прелюбодей, изменяющий умственной жизни, с коей чистейшим сочетавался брак). Но руки его, когда он трогал что-то непрочное — свежайшие, еще сырые миниатюры или потраченные временем листы, ломкие, как опресноки, — двигались с необыкновенной ловкостью, и так же он трогал свои орудия. Ибо в дорожном мешке он хранил особые предметы, кои звал «чудными орудиями». Орудия, говорил он, рождаются от искусства, которое обезьяна природы и в новых формах воссоздает различные действия природы. Так он объяснил мне чудотворные свойства часов, астрологии и магнита. Однако сперва я боялся, что это нечисто, и прикидывался спящим в ясные ночи, когда он с помощью таинственного треугольника следил за звездами. Прежде я встречал францисканцев в Италии и в моей земле, и это были простые, часто неграмотные люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен его образованностью. Он со смехом ответил: «У нас на островах францисканцы из особого теста. Рогир Бэкон, наш чтимый наставник, учил, что в некий день промысел Господен обратится к механизмам, они же суть орудия природной священной магии. Тогда из природных средств создадутся орудия судоходства такие, коих силою корабль пойдет под водительством одного лишь человека, притом пуше, нежели ходят под парусом или на веслах.

1 Распутник (*сречи*).

Явятся и повозки “без тварей борзо влекомы нутряным напором такожде махины на воздушех плывущи ими же муж воссед правит дабы крыла рукотворны били бы воздух по образу летучих птах”. И малейшие орудия, способные поднять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому».

Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил: «В древности они были сделаны, а иные и в наше время, за вычетом воздухоплавательной махины, каковую ни я не видал, ни кто-либо из людей, мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа, об одной махине помышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор, и прочие неслыханные сооружения. Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет. Я скажу тебе: Господу угодно, чтобы были они, и истинно уже существуют они в Его помысле, хотя мой друг Оккам и отрицает вероятность подобного существования идей. Но отрицает не оттого, что отгадывать помыслы Божии предосудительно, а, напротив, оттого, что число отгадок неограниченно». Это было не первое противоречивое высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, столь ценя суждения своего друга Оккама, одновременно преклонялся и перед доктринами Бэкона. Хотя следует признать, что в ту беспокойную пору умному человеку приходилось думать, бывало, взаимоисключающие вещи.

Вот, рассказал я о брате Вильгельме — видимо, бестолково. Хотелось в начале повести собрать обрывки разрозненных наблюдений, сделанных по дороге в аббатство. Кто был Вильгельм и чем интересовался, ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его поступков в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающей картины. Могу дать лишь перечень фактов, но предивных и престрашных, это несомненно.

Таким-то образом, день ото дня узнавая учителя и провозжая бесконечные переходы в длительнейших с ним бе-

седах (их вспомяну при случае), я вдруг обнаружил, что путь наш скончался и впереди высится гора, а на ней то самое аббатство. Ступай же вперед и ты, моя повесть, и да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем.

# День первый



## ПЕРВОГО ДНЯ ЧАС ПЕРВЫЙ,

*где описано прибытие к подножию аббатства,  
причем Вильгельм проявляет величайшую проицательность*

**Б**ыло ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, мы слушали мессу в долинной деревушке. Потом двинулись в гору навстречу солнцу.

Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен — такими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, — а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была Храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником (совершеннейшая из фигур, отображающая стойкость и неприступность Града Божия). Южные грани возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу, с некоторых точек, казалось, будто не постройка, а сама каменная скала громоздится до неба и, не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню: произведение гигантов, родственных и земле и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой пять обращены вовне, так что четыре стороны боль-

шого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных числ, полных, каждое, тончайшего духовного смысла. Восемь — число совершенства любого квадрата, четыре — число евангелий, пять — число отделов неба, семь — число даров Духа Святого. Величиной и планом Храмина походила на виденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсино и замок Даль Монте, но была еще неприступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника. Добро еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду.

Однако не скажу, чтоб она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а оттого что слишком заметны были дурные знаки, оставленные на тех камнях еще в давние времена, когда они были во власти гигантов. Задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в священное хранилище слова Божия.

Наши мулы вскарабкались на последний уступ взъезда. Отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, кинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и по верх дороги, где несколько вечнозеленых пиний, сойдясь, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса.

«Богатое аббатство, — сказал он. — Аббату нравится хорошо выглядеть на людях».

Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил. И некогда было спрашивать: за поворотом послышались крики, и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал.

«Пожалуйста, отец мой, — сказал он, — и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем приезде известили. Я Ремигий Варагинский, келарь этого монастыря. Если вы тот самый, кем я

вас счел, то есть брат Вильгельм из Баскавиллы, надо доложить настоятелю. Ты, — обратился он к кому-то из свиты, — ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители!»

«Благодарю, отец келарь, — учтиво ответил учитель, — и тем более тронут, что вижу: ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь. Конь действительно поскакал в эту сторону и свернул на правую тропку. Далеко уйти он не должен: добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет — слишком умен».

«Вы когда его видели?» — спросил келарь.

«А мы его не видели, верно, Адсон? — Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой. — Но это неважно, так как ваш Гнедок именно там, где я говорю».

Келарь помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу, и в конце концов не выдержал: «Откуда вы знаете, как его зовут?»

«Уж знаю, — ответил Вильгельм. — Вы ищете Гнедка, это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, темной масти, ростом без восьми вершков в сажень, хвост пышный, копыто малое и круглое, однако на скаку ровен. Голова некрупна, уши острые, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться».

На мгновение келарь застыл в полной растерянности, затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы снова затрусил в гору. Я был вне себя от любопытства, но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту послышались ликующие вопли и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас, очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю, грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно, а давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку — славолюбию, особенно когда показывает про-

ницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеванный славой мудреца.

«А теперь откройте, — не утерпел я, — как вы догадались?»

«Добрейший Адсон, — отвечал учитель. — Всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге. Сказал же Алан Лилльский:

всей вселенной нам творенье —  
будто бы изображенье,  
книга или зеркало, —

и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь чрез посредство творений своих глаголет к нам о вечной жизни. Однако вселенная еще красноречивей, чем казалось Алану, и говорит не только о далеких вещах (о них всего туманней), но и о самых близких, и о них — яснее ясного. Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть. На развилке, на свежем снегу, были четкие следы копыт, уходившие от нас налево. Отпечатки правильные, равномерно расположенные, копыто маленькое, круглое. Поскок ровный. А это означает, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пинии образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей — именно на высоте пяти футов, как я и сказал келарю. Ты видел ежевичник у развилки? Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом, и оставил на шипах несколько длинных черных-пречерных волос... Наконец, не скажешь же ты, что не догадывался про эту помойку. Мы ведь вместе видели на нижнем уступе горы поток нечистот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может вести только туда».

«Да, — кивнул я. — Но маленькая голова, острые уши, большие глаза...»

«Не знаю, что там на самом деле. Но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же Исидором Севильским, что лучшего коня “стать такова: невелика глава и плотно шкурою

до кости покрыта, кратки и остры уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны». Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец келарь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах, — тут он иронически улыбнулся, явно по моему адресу, — если это ученый бенедиктинец».

«Ладно, — сказал я. — Но почему Гнедок?»

«Да ниспошлет Святой Дух в твою башку хоть капельку мозгов, сын мой! — воскликнул учитель. — Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом скакуне, не находит более оригинальной клички!»

Вот каков был учитель. Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмова доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования, и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу. И да славится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа ради сего чудесного ниспосланного мне открытия.

Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях! Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства, и как Настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками, поднесшими полную воды золотую мису, и как мы спешили, а он вымыл в мисе руки Вильгельму, и обнял, и поцеловал в уста, даруя святым благословением; а келарь в это время принимал меня.

«Я благодарен вам, Аббон, — сказал Вильгельм, — великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и про-

славленную по обе стороны гор. Паломником я прихожу, во имя нашего Господа, и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при сем грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием».

Беря письмо с имперскими печатями, Аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами своего братства (и это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктинского аббата невозможно застать врасплох). Затем Настоятель велел келарю показать нам ответные помещения, конюхам — принять наших мулов, а сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы, и нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки тянулись по бокам и по середине гладкого луга, устилавшего чашеобразную впадину (альту), которой оканчивалась вершина горы.

Внутреннее расположение аббатства я еще буду иметь случай описать не однажды и во всех подробностях. Сразу из-под въезда (который, по всему судя, был единственною отдушиной в цельной стене) открывалась обсаженная деревьями дорога, приводившая к ступеням монастырской церкви. Слева от дороги шли овощные гряды, за ними, как мне объяснили потом, ботанический сад, укрывавший от глаз два строения — баню и больницу с травохранилищем, прижимавшиеся почти вплотную к выгибу стены. Еще дальше, по левую руку от церкви, возвышалась Храмина; между нею и церковью я заметил могильные кресты. Северный портал церкви смотрел прямо на южную башню Храмины, и очам новоприбывших путешественников первой появлялась ее западная башня, а рядом, чуть левее, стены Храмины вращались в монастырскую ограду и другие башни висли над пропастью. Самую далекую, северную, с трудом было видно. Направо от церкви шли другие строения, повернутые к ней спи-

ною и образывавшие церковный двор: как заведено, почивальни, дом аббата и странноприимный дом, куда нас с Вильгельмом и доставили, проведя через роскошнейший фруктовый сад. Направо от дороги, на дальнем краю лужайки, обок южной стены и затем обок восточной, загибаясь за церковь, тянулись цепью службы и людские: конюшни, мельницы, маслодавили, амбары и погреба, а также какое-то жилье, которое, по всей вероятности, должно было оказаться домом послушников. Ровность участка, всхолмленного совсем несильно, позволяла древним созидателям этого богоугодного места соблюсти любые правила взаимной расстановки построек лучше, чем могли бы требовать от кого бы то ни было Гонорий Августодунский или Вильгельм Дуранский. По наклонению солнечных лучей на этот час дня я рассчитал, что большие въездные ворота, по-видимому, выходят строго на запад, а хор и алтарь — неукоснительно на восток. Таким образом, по утрам лучи зари прежде всего обращаются на почивальни и на стойла, пробуждая ото сна людей и животных. Никогда не доводилось мне видеть аббатства краше и соразмернее этого, хотя впоследствии я побывал и в Сан-Галло, и в Клюни, и в Фонтене, и в других, может быть, даже и более обширных, зато хуже устроенных. Особенно же отличалось это аббатство от всех прочих благодаря нависавшей над остальными строениями, ни с чем не сопоставимой громаде Храмины. Никогда не обучался я искусству каменщика, однако сразу понял, что Храмина древнее всех окружающих ее построек и была воздвигнута, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а аббатство основалось около нее гораздо позже, но с таким умыслом, чтобы башни Храмины были соотнесены с приделами церкви, вернее наоборот, ибо из всех искусств архитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди именовали *kosmos*, то есть изукрашенный; он целокупен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. И пребуди благословен Создатель, определивший, по свидетельству Августина, для каждой вещи число, тяжесть и меру.

## Первого дня ЧАС ТРЕТИЙ,

*где Вильгельм с Аббатом имеют содержательнейшую беседу*

**О**тец келарь был толстоват и простоват, но радужен; немолод, но крепок; невзрачен, но расторопен. Он довел нас до странноприимных палат и показал кельи, вернее келью, приготовленную для учителя. Для меня, пообещал он, в течение суток выделяют особый покой, поскольку я хотя всего лишь послушник, но гость монастыря и буду размещен с положенными удобствами. А первую ночь мне предстояло провести в покое Вильгельма, в глубокой и просторной нише, где была постлана хорошая свежая солома. Это место, пояснил келарь, устраивается для челяди тех господ, которые привыкли спать, не расставаясь с охраной.

Монахи внесли вино, козий сыр, оливы, хлеб и превосходный изюм и оставили нас. Мы ели и пили с удовольствием. Учитель не соблюдал строгое правило бенедиктинцев и вкушать в молчании не любил. Однако для беседы избирал предметы настолько добрые и достойные, что это выходило как если бы монах читал нам жития святых.

За завтраком я не удержался и стал расспрашивать его о лошади.

«В любом случае, — начал я, — даже и прочитавши необходимые знаки на снегу и на ветвях, самого-то Гнедка вы все-таки не видели. А знаки эти так или иначе свидетельст-

вуют о любой лошади или хотя бы о любой лошади определенной породы. Значит, книга природы изъясняется только общими понятиями, как и учат многие именитые богословы?»

«Не вполне, милейший Адсон, — отвечивал учитель. — Разумеется, подобные отпечатки передают, если угодно, впечатление о коне как *verbum mentis*<sup>1</sup>, и то же самое впечатление передадут они неизменно, в каком бы месте ни были увидены. Однако увиденные именно в этом месте и именно в этот час дня, они говорят мне, что по меньшей мере один из любых существующих коней определенной породы побывал тут, и так я оказываюсь на полупути между представлением об идее коня и знанием единичного коня. Как бы то ни было, в любом случае все, что мне известно о коне всеобщном, дается через следы, а след единичен. Тут я оказываюсь, можно сказать, в тисках между единичностью следа и собственным неведением, принимающим достаточно зыбкую форму всеобщной — универсальной — идеи. Если издалека смотришь на предмет и трудно разобраться, что это, довольствуешься определением “крупное тело”. Приблизившись, ты уже получаешь возможность сказать, что это вроде бы животное, хотя пока не ясно, осел это или лошадь. Наконец, когда оно уже рядом, ты скажешь, что это конь, хотя и не знаешь, зовут его Гнедком или Воронком. И только оказавшись к предмету совсем вплотную, ты убеждаешься, что это Гнедок (то есть именно тот самый, единственный конь, а не любой; называть его можно как угодно). Вот это и есть полнейшее, совершеннейшее знание: проницание единичного. Вот так я час назад готов был строить предположения о любых конях — но не от широты своего разума, а от недостатка проницательности. Утолился же голод моего разума только тогда, когда я увидел единичного коня у монахов в поводу. Только в эту минуту я действительно удостоверился,

1 Общее понятие (*лат.*).

что осуществленное рассуждение привело меня прямо к истине. А те идеи, которые я употреблял, прежде чем воочию увидел не виденного до того коня, это были чистые знаки, такие же знаки, как отпечатки конских копыт на снегу; знаки и знаки знаков используются только тогда, когда недостаток вещей».

Не раз я слышал, как учитель скептически отзывается об универсальных идеях и гораздо более уважительно говорит об индивидуалиях; мне всегда казалось, что это из-за его британства и францисканства. Но в тот день у меня не было сил для богословских диспутов; еле добравшись до ниши, я завернулся в одеяло и провалился в глубочайший сон.

Всякому входящему должно было казаться, что это не человек, а какой-то тюк. Обманулся, видимо, и Аббат, когда пришел к Вильгельму около третьего часа. Так и вышло, что я незамеченный присутствовал при первой их беседе, разумеется, без тайного умысла, а лишь оттого, что внезапно открыться было бы менее пристойно, нежели загадаться со смирением, что я и сделал.

Итак, Аббон вошел. Извинившись за вторжение, он снова приветствовал Вильгельма и объявил, что хочет говорить с глазу на глаз о довольно неприятном деле.

Начал он с похвал догадливости Вильгельма, выказанной в истории с лошастью. Как же все-таки удалось описать никогда не виденное животное? Вильгельм кратко повторил разъяснение, и Аббат пришел в восторг. Меньшего, сказал он, нельзя ждать от человека, чья мудрость вошла в легенду. Теперь к делу. Он получил от настоятеля Фарфской обители письмо, где речь идет не только о тайной миссии, порученной Вильгельму императором (ее, разумеется, предстоит обсудить особо), но и о том, что в Англии и в Италии Вильгельм провел как инквизитор несколько процессов, прославившись пронизательностью — но в то же время и великодушием.

«Особенно, — добавил Настоятель, — я рад был узнать, что во многих случаях вы выносили оправдательный приговор. Я верю, а в эти скорбные дни наипаче, что в жизни Зло присутствует неотступно, — тут он быстро оглянулся, словно искал врага прямо в нашей комнате, — но верю и что Зло любит действовать через посредников. Оно наущает своих жертв вредительствовать так, чтобы подозрение пало на праведных, и ликует, видя, как сжигают праведника вместо его суккуба. Часто инквизиторы, доказывая усердие, любой ценой вырывают у подсудимого признание, как будто хорошим следователем может считаться тот, кто, чтоб удачно закрыть процесс, нашел козла отпущения...»

«Значит, и инквизитор бывает орудием дьявола», — сказал Вильгельм.

«Возможно, — уклончиво ответил Аббат, — ибо неисповедимы Господни пути. И все же не мне бросать тень подозрения на достойнейших особ. И менее всего на вас, как на одного из них, в чьей помощи я сейчас нуждаюсь. В моем аббатстве случилось нечто требующее вмешательства и совета такого человека, как вы: умного и скромного. Достаточно умного, чтоб многое открыть, и достаточно скромного, чтобы скрыть (по необходимости) то, что откроется. Ведь часто приходится устанавливать вину особ, обязанных славиться святостью. Тогда мы пресекаем зло тайно, не предавая дело огласке. Если пастырь оступился, пусть другие отойдут от него. Но горе, когда паства перестает доверять пастырям».

«Ясно», — сказал Вильгельм. Я уже знал, что кратким и вежливым ответом он обычно прикрывает, приличия ради, свое несогласие или удивление.

«И посему, — продолжал Аббат, — я убежден, что разбирать вину пастыря может только человек вашего склада, умеющий отличать и доброе от злого, и — прежде всего — существенное от несущественного. Я рад был узнать, что вы осуждаете преступников лишь в тех случаях...»

«...когда доказана действительная вина: отравление, растление малолетних или иная мерзость, кою мой язык не решается поименовать...»

«...вы осуждаете преступников лишь в тех случаях, — продолжал Аббат, будто не слыша, — когда присутствие злого духа в обвиняемом очевидно для всех и потому оправдание может выглядеть еще возмутительнее, чем само преступление».

«Я осуждаю преступников только в тех случаях, — сказал Вильгельм, — когда доказано, что они действительно совершили преступления настолько тяжкие, что я с чистой совестью могу отдать их гражданским властям».

Поколебавшись, Настоятель спросил: «Почему, говоря о преступлениях, вы упорно умалчиваете об их причине — дьявольском наущении?»

«Потому что судить о причинах и следствиях достаточно трудно, и я думаю, что Господь единый вправе о них судить. Мы же пока не можем установить связь даже между столь очевидным следствием, как обгоревший ствол, и столь явной причиной, как ударившая в него молния. Поэтому плести длиннейшие цепочки неверных причин и следствий, по моему, такое же безумие, как строить башню до самого неба...»

«Доктор Аквинский, — сказал тогда Аббат, — не робея, выводил бытие Всевышнего из оснований одного лишь разума, восходя от причин, через причины, к первопричине...»

«Кто я такой, — смиренно ответил Вильгельм, — чтобы противоречить доктору Аквинскому? Если к тому же доказываемое им бытие Божие подтверждается таким избытком инородных свидетельств, что и его пути на том крепки? Господь речет к нам во глубине души нашей, о чем знал еще Августин. И вы, святой отец, возглашали бы хвалу Всевышнему и явственность его существования, даже если бы у Фомы не доказывалось... — Вильгельм запнулся и добавил: — Думаю, так?»

«О, несомненно», — поспешил заверить его Аббат, и таким образом учитель весьма успешно остановил схоластиче-

ский диспут, судя по всему тяготивший его. Затем продолжил свое: «Вернемся к процессам. Вот дан, к примеру, человек, умерщвленный через отравление. Это дано в непосредственном опыте. Вполне оправдано, если я, по некоторым недвусмысленным показателям, предположу, что совершил отравление другой человек. Такие простые цепочки причин и следствий мой разум вполне может выстраивать, основываясь на своем праве. Но какое право я имею утяжелять цепочку, вводя предположение, что вредоносное действие совершено силой некоего постороннего вмешательства, на этот раз не человеческого, а дьявольского? Я не хочу сказать, будто это невозможно. Порою и дьявол метит пройденный путь недвусмысленными знаками, как ваш сбежавший Гнедок. Но для чего я обязан выискивать эти знаки? Разве мне недостаточно установленной вины именно этого человека, чтобы передать его под руку светской власти? В любом случае дело закончится казнью, упокой Господи его греховную душу».

«Однако, помнится, три года назад на процессе в Килкенни по делу о попрании нравственности был вынесен приговор, гласивший, что в подсудимых вселился дьявол, и вы его не оспаривали».

«Не я составил его. Я и не оспаривал, это правда. Кто я, чтобы судить о путях распространения зла? В особенности если, — и Вильгельм голосом подчеркнул, что это главный довод, — если в ходе процесса все, кто возбудил расследование, — и епископ, и городские власти, и население, и, надо думать, сами подсудимые, — все действительно жаждали обвинить в преступлении дьявольскую силу? Вот, по-моему, единственное веское доказательство работы дьявола: это упорство, с которым люди, причастные к процессам, обычно твердят, будто узнают нечистого по делам его».

«Значит, — с тревогой спросил Аббат, — по-вашему, во многих процессах дьявол движет не только преступниками, но также — или даже в первую очередь — судьями?»

«А разве можно утверждать подобное? — переспросил Вильгельм. И я отметил: вопрос построен так, чтобы Аббату было неудобно настаивать на своем. Воспользовавшись его замешательством, Вильгельм сменил тему: — Но все это давние дела. Теперь я оставил благородные обязанности судопроизводства. Выполнял я их по велению Господню...»

«Несомненно...» — ввернул Настоятель.

«...а ныне, — продолжал Вильгельм, — занимаюсь иными, не менее щекотливыми делами. Готов заняться и вашим, как только вы расскажете, что случилось».

Настоятель был, видимо, рад перейти к изложению вопроса. Рассказывал он осторожно, взвешивая слова, используя длинные перифразы и где возможно обходясь намеками. Событие, о котором шла речь, случилось несколько дней назад и сильно напугало монахов аббатства. Настоятель сказал, что обращается к Вильгельму как к знатоку человеческой природы и следопыту дьявольских ухищрений и надеется, что тот, уделив новому расследованию толику своего драгоценнейшего времени, прольет свет истины на печальную загадку. Известно было вот что. Адельма Отрантского, молодого монаха, но уже прославленного, несмотря на молодость, искуснейшего рисовальщика, украшавшего рукописи монастырского собрания великолепными миниатюрами, рано утром нашел козопас на дне обрыва под восточной башней Храмины. Поскольку на повечерии монахи видели Адельма в хоре, а к полунощнице он не явился, предполагается, что монах упал в пропасть в самые темные часы ночи. То была ночь с бурной грозой, со снегом, и льдины вонзались в землю, как бритвы. Шел крупный град. Непогодой заправлял безудержный северный ветер. Снег то таял, то снова смерзался в острые сосульки-лезвия. Избитое, изорванное тело нашли под отвесным обрывом. Бедная брменная плоть, да упокоит Господь его душу. Ударяясь о скалы, тело несколько раз меняло траекторию, и трудно сказать, из какой именно точки началось падение: то есть из какого имен-

но окна башни, смотрящей на пропасть четырьмя стенами, в каждой по три этажа окон.

«Где вы похоронили несчастное тело?» — спросил Вильгельм.

«Разумеется, на кладбище, — ответил Настоятель. — Оно располагается от северной стены церкви до Храмины и огородов».

«Понятно, — сказал Вильгельм. — Понятно и ваше дело. Если бы несчастный юноша оказался, Господи упаси, самоубийцей (поелику возможность случайного падения из окна заведомо исключена), на следующее утро вы должны были найти одно из окон Храмины растворенным. А между тем все окна были закрыты, и ни под одним не было потеков воды».

Настоятель, как я уже говорил, был человек в высшей степени сдержанный и дипломатичный. Но тут он от изумления растерял все ораторские навыки, которые, по Аристотелю, приличествуют важному и великодушному мужу: «Кто вам сказал?»

«Вы, — ответил Вильгельм. — Если бы окно было открыто, вы знали бы, откуда он упал. Как я заметил при осмотре снаружи, речь идет о больших окнах с матовым остеклением. Такие окна в подобных массивных зданиях отворяются выше человеческого роста. Следовательно, совершенно исключено, чтобы пострадавший выглянул и случайно потерял равновесие. Поэтому открытое окно недвусмысленно указывало бы на самоубийство. И вы бы не могли допустить погребения его в освященной земле. Но он похоронен как христианин. Это значит, что все окна были заперты. А поскольку они были заперты и поскольку ни разу, даже в процессах о ведовстве, я не видел, чтобы непокаявшийся мертвец, при помощи Бога ли, или же дьявола выбрался из пропасти ради того, чтоб замести следы собственного преступления, — я должен заключить, что предполагаемый самоубийца скорее всего был вышвырнут из окна человеческой рукой или, если вам так больше нравится, дьявольской. И теперь вы теряетесь в догадках, кто бы это мог

его ну если не в самом деле выбросить из окна, то хотя бы загнать, сопротивляющегося, на высокий подоконник. И неудивительно, что вы беспокойны, покуда в аббатстве свободно промышляет злая воля, естественная или сверхъестественная — дело не в этом...»

«Да-да... — откликнулся Аббат, но я не понял, соглашается ли он с последними словами Вильгельма или же перебирает в уме доводы, которые Вильгельм так изумительно выстроил. — Да. Но откуда вы знаете, что ни под одним окном не было воды?»

«От вас. Дул австр. А окна открываются на восток».

«Мало мне рассказали о вашем уме, — проговорил Настоятель. — Все было так, и воды под окнами не нашли, и я не мог понять почему, а сейчас понимаю. Поймите и вы мою тревогу. Достаточно тяжело было бы уж и если один из моих монахов дошел до богомерзкого греха самоубийства. Однако есть причины полагать, что второй из них повинен в грехе не менее вопиющем. И не только...»

«Прежде всего, почему — второй из них? В аббатстве достаточно посторонних — конюших, козопасов, прислуги...»

«Да, наша обитель хоть небольшая, но зажиточная, — важно подтвердил Аббат. — У нас на шестьдесят братьев сто пятьдесят человек челяди. Но прислуга ни при чем. Ведь преступление совершено в Храmine. Устройство Храмины вам, должно быть, уже известно: в нижнем этаже поварни и трапезная, в двух верхних скрипторий и библиотека. После вечернего стола Храмину замыкают, и доступ туда строжайше запрещен... — Тут Вильгельм, по-видимому, собрался что-то спросить, потому что Аббат угадал его вопрос и добавил, хотя и очень неохотно: — ...запрещен всем, включая, разумеется, монахов, но...»

«Но что?»

«Но... Для прислуги это совершенно, понимаете, совершенно невозможно: осмелиться войти в Храмину ночью... — Тут по лицу Аббата пробежала какая-то вызывающая улыбка, но тут же угасла, как угасает ночная зарница. — Что вы! Они смер-

тельно этого бояться. Понимаете, когда хочешь что-то оборонять от простецов, запрет надо усилить угрозой: убедить, что с тем, кто нарушит, произойдет нечто ужасное, скорее всего потустороннее. Простецы верят, а вот монахи...»

«Ясно».

«Кроме того, у монаха может быть какая-то надобность проникнуть в запретное для других место. Надобность, как бы это выразиться, объяснимая, хотя и противозаконная...»

Вильгельм заметил, что Аббат не знает, как продолжить, и задал новый вопрос, однако еще сильнее смутил собеседника.

«Говоря о предполагаемом убийстве, вы добавили: и не только... Что еще имелось в виду?»

«Я так сказал? Ну... Никто не убивает без причины, пусть самой извращенной. И мне страшно помыслить об извращенности причины, способной толкнуть инока на убийство собрата. Вот. Это все».

«Все?»

«Все, что я могу рассказать».

«То есть — все, что вам позволено рассказать?»

«Прошу вас, брат Вильгельм, прошу тебя, брат...» Оба слова, и «вас» и «тебя», Аббат особо выделил голосом. Вильгельм сильно покраснел и пробормотал:

«Вижу: ты служитель Господен».

«Спасибо, Вильгельм», — отвечал Аббат.

О Боже милостивый, какой же непозволительной тайны коснулись в тот миг мои увлекшиеся наставники, один по велению отчаяния, другой по велению любопытства! Ведь даже я, жалкий послушник, не причастный еще тайн святого служения Господня, я, недостойный мальчишка, понял, что Аббат имеет в виду нечто услышанное на исповеди. С уст исповедующегося дошло до него некое греховное признание, по-видимому сопряженное с трагической кончиной Адельма. Потому-то, наверное, Аббат и просил Вильгельма раскрыть злодеяние, о котором он, Аббат, уже знал, не имея права ни обвинить, ни наказать преступника. Он надеялся,

что мой учитель силою разума прольет свет на то, что сам он обязан укутывать тьмой во имя наивысшей силы — милосердия.

«Ладно, — сказал Вильгельм. — Я могу опросить монахов?»

«Можете».

«Я могу свободно перемещаться внутри аббатства?»

«Вы получите доступ повсюду».

«О моих полномочиях известят братьев?»

«Всех и сегодня же вечером».

«В таком случае я начну немедленно, до оповещения. Кроме всего прочего, я давно предвкушал, и даже полагал не в малой степени целью своего путешествия, посещение вашей библиотеки, о которой во всех монастырях христианского мира говорят как о чуде».

Тут Аббат вскочил на ноги. Лицо его окаменело. «Я обещал вам доступ во все постройки аббатства, это правда. Но, разумеется, это не касается верхнего этажа Храмины — библиотеки».

«Почему?»

«С этого объяснения следовало бы начать. Но я думал, что вы уже знаете... Дело в том, что наша библиотека отличается от остальных...»

«Да. В ней больше книг, чем в любой библиотеке христианства. В сравнении с вашими собраниями хранилища братств Боббио и Помпозы, Клунийского и Флерийского аббатств покажутся школьной комнатой мальчишки, долбящего азбуку. Шесть тысяч кодексов Новалесской библиотеки, которыми она выхвалялась более ста лет назад, мелочь по сравнению с вашим собранием, и, надо думать, многие из тех кодексов уже перекочевали к вам. Я знаю, что эта библиотека — единственный наш светоч; это лучшее, что может противопоставить христианский мир тридцати шести библиотекам Багдада, десяти тысячам томов визиря Ибн аль-Альками; знаю, что число ваших Библий сравнимо с двумя тысячами четырьмястами каирскими Коранами и что существование ваших запасов — блистательная явственность, посрамляющая наглуго напрас-

лину язычников, которые еще в отдаленные времена похвалялись (по близости своей ко князю неправды), будто их библиотека в Триполи наполнена шестью миллионами томов, населена восьмьюдесятью тысячами толкователей и двумястами писцами...»

«Да, это так, благодарение Господу».

«Я знаю, что в составе вашей братии много пришельцев из других аббатств, из различных государств мира. Одни приходят ненадолго, чтобы переписать редкие в их краях рукописи и взять переписанное с собою на родину, а вам они за это предоставляют другие рукописи, редкие в ваших краях, чтобы вы, их переписав, приобщили к своей сокровищнице. Другие же приходят на долгие годы, иногда на всю жизнь — ибо только у вас они получают доступ к книгам, освещающим их область науки. Поэтому здесь у вас обретаются германцы, даки, испанцы, французы и греки. Знаю, что именно вас Фридрих-император много лет назад просил по его заказу составить трактат о пророчествах Мерлина и перевести его на арабский язык, чтобы послать в подарок египетскому султану. Наконец, я знаю, что даже в таком славнейшем монастыре, как Мурбах, в наши убогие времена не осталось ни одного переписчика; что в Сан-Галло только несколько монахов обучено письму; и что отныне не здесь, а в городах учреждаются корпорации и гильдии мирян, чтобы переписывать по заказу университетов; и что ваше аббатство сейчас единственное из всех ото дня ко дню умножает знания, и не просто умножает, а осиявает все более пышною славой родительский орден...»

«*Monasterium sine libris*<sup>1</sup>, — подхватывая, повел Аббат, как будто забываясь, — се подобствует граду без воев, кремлю без стратигов, яству без приправ, трапезной без яств, без трав вертограду, лугу без соцветий, древу без листвия... И наше братство, возрастая, стоя на двух заповедях — тружениа и мо-

1 Монастырь без книг (*лат.*).

литвословия, — всему известному миру является как свет, как поместилище науки, как воскрешение древнейшей мудрости, спасенной от бедствий многих: пожаров, грабежей, земли трясений; мы как бы кузня новейшей письменности и как хранилище вековечной... О, вам известно, до чего сумрачны наступившие годы; не выговоришь, не краснея, о чем недавно Венский совет был вынужден напоминать народам! О том, что монахи обязаны рукополагаться! Коликие аббатства наши, две сотни лет бывшие блистательными средоточиями высокоумия и святожительства, ныне прибежища нерадивцев! Орден пока могуч, однако городским смрадом дохнуло и в наших богоугодных местах: народ Божий все больше склоняется к торговле, к междоусобицам; там, в огромных градских сонмищах, где не успевает повсеместно владычествовать дух святости, уже не только изъясняются (иного от мирян и ожидать нечего), но даже и пишут уже на вульгарных наречиях! Помилуй Господи и упаси от того, чтобы хотя единое подобное сочинение попало в наши стены — неминуемо переродится целая обитель в рассадник ереси! По грехам человеческим мир дошел до края пропасти, целиком охвачен бездною, бездну призывающей! А завтра, как и предрекал Гонорий, люди станут нарождаться телесами мельче, нежели мы; так же как и мы мельче древних людей. Мир наш старится. Ежели ныне и имеет орден от Господа некоторое назначение, вот оно: противостоять этому гону ко краю пропасти, сохраняя, воспроизводя и оберегая сокровище знания, завещанное нашими отцами. Провидение так распорядилось, чтобы все-светная власть, которая при сотворении мира обреталась на востоке, постепенно с течением времени передвигалась все сильнее к закату, тем и нас извещая, что кончина света также приближается, ибо гон событий в подлунной уже дошел до пределов миропорядка. Но пока еще тысячелетие не исполнилось, пока еще окончательно не восторжествовало — хотя ждать и недолго — нечистое чудовище, Антихрист, нам надлежит оставаться на защите достоинства христианского мира, си-

речь Божия слова, кое дадено от Него Его пророкам и апостолам, и кое отцы наши воспроизводили благоговейно, не изменяя в нем ни звука, и кое в прежних школах благоговейно толковали, — даром что ныне в этих же школах змиеподобно угнездились гордыня, зависть, безрассудство. Перед наступлением грядущей тьмы мы единственный факел света, единственный светлый луч над горизонтом. И покуда стоят эти священные древние стены, мы должны пребывать на страже святого Слова Господня...»

«Аминь, — благочестиво заключил Вильгельм. — Но какое отношение это все имеет к запрету на вход в библиотеку?»

«Видите ли, брат Вильгельм, — отвечал Аббат. — Для того чтобы вершился святой неохватный труд, обогащающий эти стены, — и кивнул на громаду Храмины, видневшуюся из окна и возвышавшуюся над самыми большими постройками, даже и над церковью, — для этого благочестивые люди работали веками, соблюдая железную дисциплину. Библиотека родилась из некоего плана, который пребывает в глубокой тайне, тайну же эту никому из иноков не положено познать. Только библиотекаря известен план хранилища, преподанный ему предшественником, и еще при жизни он должен заповедать его приемнику, чтобы случайная гибель единственного посвященного не лишила братство ключа к секретам библиотеки. Их знают двое, старый и молодой, но уста обоих опечатаны клятвой. Только библиотекарь имеет право двигаться по книжным лабиринтам, только он знает, где искать книги и куда их ставить, только он несет ответ за их сохранность. Прочие монахи работают в скриптории, где они могут пользоваться списком книг, хранимых в библиотеке. В списке одни названия, говорящие не слишком много. И лишь библиотекарь, понимающий смысл расстановки томов, по степени доступности данной книги может судить, что она содержит — тайну, истину или ложь. Он единолично решает, когда и как предоставить книгу тому, кто ее затребовал, и предоставить ли вообще. Иногда он советуется со мной. Ибо не всякая истина — не вся-

кому уху предназначается, и не всякая ложь может быть распознана доверчивой душой. Да и братья, по уставу, должны в скриптории заниматься заранее обусловленными работами, для которых потребны заранее оговоренные книги — и никакие иные. Нечего потакать всякому порыву безрассудного любопытства, рожденного слабостью ли духа, опасной ли гордынею, либо дьявольским наущением».

«Значит, в библиотеке есть книги, содержащие лжеучения?»

«И природа терпит чудищ. Ибо они часть божественного промысла, и чрез немислимое их уродство проявляется великая сила Творца. Так же угодно божественному промыслу и существование магических книг, иудейской каббалы, сказок языческих поэтов и лживых учений, исповедуемых иноверцами. Верой столь незыблемой, столь святой одушевлялись те, кто устроил наше аббатство и учредил в нем библиотеку, что полагали, будто даже в клеветах ложных писаний око мудрого и набожного читателя способно прозреть свет — пусть самый слабый, — свет божественного Знания. Но и для таких читателей библиотека пусть остается заповедем. Именно по этим причинам, как вы понимаете, в библиотеку нельзя допустить всех и всякого. К тому же, — добавил Аббат, как бы понимая, до чего непрочен последний аргумент, — книга так хрупка, так страдает от времени, так боится грызунов, непогоды, неумелых рук! Если бы все эти сотни лет всякий, кто хочет, мусолил наши кодексы, большая часть не дожила бы до нынешних времен. Библиотекарь оберегает тома не только от людей, но и от природных сил, посвящая жизнь борьбе с губительным Забвением, этим вековечным врагом Истины».

«Значит, никто, кроме двух человек, не входит в верхний этаж Храмины».

Аббат улыбнулся. «Никто не должен. Никто не может. Никто, если и захочет, не сумеет. Библиотека защищается сама, она непроницаема, как истина, которую хранит в себе, ковар-

на, как ложь, в ней заточенная. Лабиринт духовный — это и вещественный лабиринт. Войдя, вы можете не выйти из библиотеки. Я изложил вам наши правила и прошу вас соблюдать правила аббатства».

«Но вы допускаете, что Адельм упал в пропасть из окна библиотеки. Как могу я расследовать обстоятельства его гибели, если не осматриву предполагаемое место преступления?»

«Брат Вильгельм, — отвечал Настоятель примирительным тоном, — человек, который смог описать моего Гнедка, никогда не видел его, и гибель Адельма, ничего не зная о ней, без труда сумеет судить о месте, куда доступ ему воспрещен».

Вильгельм ответил, поклонившись: «Ваше высокопреподобие и строгость свою облакает мудростью. Да будет как вам угодно».

«Если я когда-либо, волею Господа, и бывал мудр, — это единственно оттого, что умею быть строгим», — ответил Аббат.

«И наконец, — сказал Вильгельм. — Убертин?»

«Он здесь. Ждет вас».

«Когда?»

«В любое время, — улыбнулся Настоятель. — Вы его знаете. Несмотря на великую ученость, он равнодушен к библиотеке. Зовет ее преходящим оболыщением. Проводит дни в церкви, молится, размышляет...»

«Стар он?» — поколебавшись, спросил Вильгельм.

«Вы давно его не видели?»

«Много лет».

«Он устал. Отрешен от наших посюсторонних забот. Ему шестьдесят восемь лет. Но душа его, кажется, молода, как и прежде».

«Спасибо, отец настоятель. Я разыщу его немедленно».

Аббат пригласил нас трапезовать с братией после шестого часа. Вильгельм ответил, что совсем недавно позавтракал, и очень сытно, и что предпочтет немедленно увидеться с Убертином. И Аббат откланялся.

Когда он открывал дверь, со двора донесся душераздирающий вопль — так кричат смертельно раненные. Затем — другие крики, не менее ужасные. «Что это?» — вздрогнул Вильгельм. «Ничего, — ответил, улыбаясь, Аббат. — Об эту пору у нас колют свиней. У скотников много работы. Не эта кровь должна вас заботить».

Так он сказал, и не оправдал свою репутацию прозорливца. Ибо на следующее утро... Но сдержи нетерпение, ты, разнузданный язык! Ведь еще в тот день, о коем речь, и еще до ночи совершилось много такого, о чем нужно поведать скорее.